

1

Сначала я расскажу вам об ограблении, совершенном нашими родителями. Потом об убийствах, которые произошли позже. Ограбление важнее, потому что это оно направило наши жизни, мою и сестрину, по пути, которым обе последовали. И пока я не расскажу о нем, все остальное будет совершенно бессмысленным.

Наши родители меньше, чем кто-либо на свете, походили на людей, способных ограбить банк. Они не производили странного впечатления, не были натурами явно преступными. Никто бы и не подумал, что они обречены закончить так, как закончили. Самые обычные люди — хотя, конечно, разговоры такого рода утратили всякий смысл в тот миг, когда они ограбили банк.

Мой отец, Бев Парсонс, родился в 1923-м, в деревушке округа Маренго, штат Алабама, а школу закончил в 1939-м, уже сгорая от желания поступить в Армейскую авиацию, ставшую впоследствии Военно-воздушными силами. Он явился на один из призывных пунктов Демополиса, прошел подготовку на базе «Рэндальф», что под Сан-Антонио. Ему хотелось стать летчиком-истребителем, но на это его способностей не хватило, и он обучился на бомбардира. Летал на средних бомбардировщиках «Б-25 Митчелл», сначала на Филиппинах, потом над Осакой, сея на землю смерть и разрушение — и для врага, и для ни в чем не повинных людей. Человеком он был обаятельным, улыбчивым, красивым и рослым — шесть футов (в отсек бомбардира забирался с трудом), — с большим квадрат-

ным лицом, с которого не сходило выжидательное выражение, выпуклыми скулами, чувственными губами и длинными, привлекательными, женскими ресницами. Отец гордился своими блестящими белыми зубами и короткими черными волосами — как и своим именем. Он никогда не признавал, что для большинства людей Беверли — имя женское. У него англосаксонские корни, утверждал отец. «Очень распространенное в Англии имя, — говорил он. — Вивиан, Гвен, Ширли — там это имена мужские. И никто их обладателей с женщинами не путает». Он мог говорить часами, был человеком широких — для южанина — взглядов, повадку имел обходительную, услужливую, с такой он мог бы пойти в ВВС очень далеко, но не пошел. Входя в любую комнату, он первым делом обшаривал ее живыми карими глазами в надежде найти человека, который обратит на него внимание, — как правило, такими людьми оказывались мы с сестрой. Он любил рассказывать в театральном южном стиле бородатые анекдоты, показывать карточные и иные фокусы — мог оторвать себе большой палец и приладить его на место, заставить носовой платок исчезнуть и вернуться. Умел играть на пианино «буги-вуги» и иногда разговаривал с нами «на южный пошиб», а иногда на «негритянский». Летая на «Митчеллах», он стал слегка глуховат и воспринимал это болезненно. Однако выглядел с его «строгой» армейской стрижкой и синим капитанском мундиром очень эффектно и, как правило, источал искреннее тепло, за что мы с моей сестрой-двойняшкой очень его любили. Возможно, по этой же причине он приглянулся нашей матери (хотя более разных, не подходивших друг другу людей и быть не могло), и во время единственной их встречи в постели — по окончании приема в честь вернувшихся с войны солдат — она, на беду ее, забеременела. Случилось это в марте 1945-го, когда отец проходил в Форт-Льюисе переподготовку на начальника интендантской службы, поскольку его умение бросать бомбы ни для кого больше интереса не представляло. Как только выяснилось, что мама беременна, он женился на ней. Ее родители, осевшие в Такоме еврейские иммигранты из Польши, этого не одобрили. Людьми они были образо-

ванными, преподавателями математики и полупрофессиональными музыкантами, устраивавшими у себя в Познани концерты, которые пользовались там немалой популярностью. Покинув Польшу в 1918-м, они добрались через Канаду до штата Вашингтон и стали — ни больше ни меньше — школьными завхозами. К своему еврейству они, как и наша мать, всерьез не относились: видели в нем устаревшую, обременительную, перегруженную запретами систему представлений о жизни и с удовольствием от него отказались — как и от страны, в которой евреев, судя по всему, теперь почти не осталось.

То, что их единственная дочь ухитрится выйти за улыбчивого и разговорчивого единственного сына шотландско-ирландских сметчиков лесного склада, стоящего где-то в алабамской глуши, им даже в голову никогда не приходило, но, когда так и случилось, они о ней и думать забыли. И хотя со стороны могло показаться, что наши родители всего лишь не созданы один для другого, но на самом деле мама, выйдя за нашего отца, потеряла очень многое: жизнь ее изменилась навсегда — не в лучшую сторону, — и она, несомненно, так и считала.

Моя мать, Нива Кампер (сокращенное от Женева), была маленькой, эксцентричной, носившей очки женщиной с непослушными каштановыми волосами, которые переходили на ее щеках в легкий пушок, сбегавший к линии челюсти. Густобровая, с поблескивавшим лбом, на котором проступали вены, и бледной, придававшей ей хрупкий вид — хотя хрупкой она не была — кожей домоседки. Отец говорил, шутя, что в Алабаме такие волосы называют «еврейскими» или «иммигрантскими», но ему они нравятся, он любит ее. (Мать этим словам большого внимания, похоже, не уделяла.) Руки у нее были миниатюрные, деликатные, с наманикюрными блестящими ногтями, которыми она тщеславила и которые рассеянно выставляла напоказ. Она обладала скептическим складом ума, очень внимательно слушала то, что мы ей говорили, и отличалась остроумием, порой обращавшимся в язвительность. Носила очки без оправы, читала французских поэтов, часто прибегала к словечкам напо-

добие «*couche-marde*» или «*trou de cul*»*, которых мы с сестрой не понимали. Она и сама писала стихи — бурными чернилами, заказывая их по почте, — и вела дневник, в который нам заглядывать не дозволялось; лицо ее, как правило, выражало легкую надменность, недоумевающую отверженность; со временем оно стало отвечать истинному состоянию ее души — а может быть, и всегда отвечало. До того, как выйти за отца, а затем родить сестру и меня, она закончила (в восемнадцать лет) колледж Уитмена в Уолла-Уолла и поработала в книжном магазине, возможно воображая себя представительницей богемы и поэтом и надеясь найти когда-нибудь место занимающегося наукой преподавателя маленького колледжа и выйти замуж за человека, не похожего на ее теперешнего мужа, — быть может, за профессора колледжа, способного создать ей условия жизни, для которой мама, по ее мнению, была предназначена. В 1960-м, когда все и произошло, ей было лишь тридцать четыре года. Однако на лице ее уже появились «серьезные складки» — у носа, маленького, с розовым кончиком, — а большие, пристальные серо-зеленые глаза прикрылись темноватыми веками, сообщавшими ей вид иностранки, немного печальной и неудовлетворенной, — верным было и то и другое. Шея у мамы была красивая, тонкая, а внезапная, неожиданная улыбка привлекала внимание к ее маленьким зубам и девичьему рту сердечком. Впрочем, улыбалась она редко — разве что сестре и мне. Мы понимали, что выглядела она необычно, — еще и потому, что носила обычно оливкового цвета слаксы, хлопковые блузы с широкими рукавами и туфли из пеньки и хлопка, которые приходилось выписывать с Западного побережья, потому что в Грейт-Фолсе такие не продавались. А неохотно становясь рядом с нашим высоким, красивым, общительным отцом, она приобретала вид еще более непривычный. Впрочем, на люди мы всей семьей «выходили» и в ресторанах обедали редко, а потому и не замечали почти, как выглядят наши родители во внешнем мире, среди чужих людей. Домашняя же наша жизнь нам представлялась нормальной.

* Говнюк (фр.). — Здесь и далее примеч. перев.

Мы с сестрой хорошо понимали, чем привлек нашу мать Бев Парсонс: большой, широкоплечий, разговорчивый, веселый, всегда норовящий порадовать каждого, кто ему подвернется. Но для нас никогда не были вполне очевидными причины, по которым его заинтересовала *она* — маленькая (от силы пять футов), погруженная в себя, застенчивая, отчужденная от людей, артистичная, становившаяся хорошенькой, лишь когда она улыбалась, и остроумной, лишь когда ее совершенно ничто не тревожило. Должно быть, мы каким-то образом просто принимали это, чувствовали, что ум мамы тоньше отцовского, но зато он умеет радовать ее и потому счастлив. Надо отдать ему должное: отец обладал способностью заглядывать поверх барьера физических различий в человеческое сердце, и мне это страшно нравилось, даром что мама таким умением не отличалась.

И все-таки странное соединение их несопоставимых физических качеств всегда казалось мне причиной, по которой они так плохо кончили. Отец и мать, вне всяких сомнений, не годились друг для дружки, им не следовало жениться и жить вместе, а следовало разойтись после первого же страстного свидания по своим путям, куда бы те их ни вели. Чем дольше они оставались вместе, чем лучше узнавали друг друга, чем яснее мама (по крайней мере) понимала, какую оба совершили ошибку, тем более бессмысленными становились их жизни, — это походило на длинное математическое доказательство, в котором первая выкладка оказывается неверной, а все последующие уведут тебя дальше и дальше от положения, в котором присутствовал подлинный смысл. Социолог того времени — начала 60-х — мог бы сказать, что наши родители принадлежали к авангарду исторического движения, были одними из первых среди тех, кто преступил социальные границы, избрал бунт, поверил в то, что человек должен утверждаться через саморазрушение. Все это неверно. Не были они безрассудными представителями авангарда чего бы то ни было. А были, как я уже сказал, обычными людьми, которых обстоятельства, низменные инстинкты и невезение заставили преступить границу того, что они считали правильным, а после обнаружить, что обратной дороги для них нет.

Впрочем, об отце я скажу и еще кое-что: когда он возвратился с театра военных действий, лишившись небесной роли подателя посвистывавшей смерти, — а случилось это в 1945-м, в год, когда в штате Мичиган, на авиабазе Уортсмит, что в Оскоде, родились сестра и я, — он, надо думать, попал, что произошло со многими бывшими солдатами, в тиски серьезной, хоть и не определенной точно опасности. И остаток жизни провел, борясь с нею, стараясь оставаться человеком положительным и не пойти ко дну, принимая дурные решения, казавшиеся в миг их принятия вполне разумными, не понимая в конечном счете мира, в который он вернулся, и это непонимание определило всю его жизнь. Опять-таки, в таком же положении наверняка оказались миллионы молодых людей, но отец-то никогда этого не понимал или, во всяком случае, не признавал, что так оно и есть.